*29.01.2022*

*Тема. Воробьёв К.Д. Гуси-лебеди. Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа в человеке.*

*Цели. Понять значимость любви как высшей нравственной основы в человеке.*

*Содержание.*

* *Прочитайте рассказ. В чём смысл названия “Гуси - лебеди”?*

**Константин Воробьев «Гуси-лебеди»**

…Вынесу войну,  
сто ран приму, но выстою.  
Себя верну, любовь верну,  
и щедрую и чистую.  
Такую щедрую, что в ней  
не думал об измене я,  
такую чистую, что ей  
лишь только ты – сравнение!

А. Недогонов

**1**

Это случилось ранней осенью, на третьем году войны. Возвращаясь с задания, группа партизан-разведчиков наткнулась на вражескую засаду, и из семи человек на базу пришел только один. Он был смертельно ранен, но у него хватило еще сил рассказать в штабе о происшедшем. Командир отряда был человеком молчаливым, и радистка Таня узнала о гибели Сергея Марьянова лишь на второй день. Она неслышно вошла в штабную землянку и остановилась у дверей ниши, завешанной плащ-палаткой. Глядя на ее белые губы и изумленно расширенные глаза, командир охнул и произнес почему-то шепотом:

— Ну… вот и ты.

Девушка не заламывала рук и не билась в истерике, она не плакала и стояла молча. Командир сказал, что место гибели партизан осмотрено вчера еще, но, кроме стреляных гильз, там ничего не найдено.

— Значит, они живы! – жарко выдохнула девушка. – Что же вы сидите? Они же в плену… Их мучают — вы понимаете?! А потом его… всех их повесят на крючьях! Что же вы сидите!

Командир не сказал Тане, что наступающей ночью отряд покидает этот лес, но он объяснил, что город, где сосредоточено до двух полков немцев, им не взять.

Он утешал Таню, старательно припоминая слова поласковее, потом подал ей изношенную полевую сумку и снова сказал почему-то шепотом:

— Это книги его…

За штабной землянкой, в кустах ольхи и крушины, Таня раскрыла сумку. Там лежали красный томик Маяковского, «Тихий Дон» и нетолстая тетрадь стихов Сергея Марьянова. Стихи его Таня знала наизусть — они ей нравились едва уловимой грустью о непережитой юности.

Как во сне она перелистывала тетрадь. На листке, помеченном пятым числом сентября, сбились в тесную колонку строчки начатого стихотворения:

Без тебя не быть бойцу поэтом,Вез тебя я выстужу жилье:Без тебя разуто и раздетоСердце терпеливое мое…

Эта строфа была трижды перечеркнута, и сбоку предельным нажимом карандаша синело: «Не мое. чужое. Не то!»

— Сергей» Сергей! — не слыша своего голоса, позвала Таня, продолжая бежать глазами по вымаранным строчкам.

Отшумит тревога грозной были.Будет день — и я его дождусь:Не смахнув с ресниц дорожной пыли,У твоих дверей я постучусь.Я возьму твои худые рукиТак же, как теперь я их беру.Расскажу, что в эти дни разлуки…

Зачеркнутую строчку Таня прочесть не смогла. Дальше шло:

Что я помню час рожденья грезыО далеком счастье новых дней,И минуты радости, и слезы.И дымчатый шелк твоих кудрей.Все, что я любил в тебе без меры.Торопясь, волнуясь и горя…

Она не смогла читать дальше и, упав на листья ивняка, закричала, глуша голос рукавом телогрейки:

— Сергей! Сергей!

Пятое сентября! Именно тогда Марьянов узнал, что по заданию командования через несколько дней Таня улетает самолетом на Большую землю.

— Серге-е-ей!!

В этот день Таня дважды еще появлялась в штабной землянке. Она просила и наконец требовала от командира принятия экстренных мер по спасению Марьянова и его товарищей, ибо решительность ее доходила до полного убеждения в том, что двести одиннадцать партизан в состоянии разгромить двухтысячный гарнизон немцев.

— Я вполне оценил твои чувства, Таня, — внушительно сказал командир отряда. — Ты — редкая… нет, ты — настоящая русская девушка, и, видно, хорошо быть любимым такой, как ты. Но послушай меня внимательно. Если я прикажу отряду атаковать гарнизон, партизаны выполнят приказ немедленно и, очевидно, все погибнут. И если мы с тобой останемся в живых, нас надо будет расстрелять за безрассудность этой затеи!..

Ночью при построении групп для следования отряда на новое место Тани не оказалось в радиоземлянке. На железном ящике из-под немецких медикаментов, служившем радистке тумбочкой, командир нашел записку; «Андрей Дмитриевич! Я взяла две французские гранаты, которые подарил мне Сергей. Пистолет и все четырнадцать патронов оставляю. Запасной аккумулятор стоит у дверей, в углу. Вы снимайтесь и уходите, как решили, а я (это слово было зачеркнуто), а мы вас найдем. Вы же сами говорили, что никогда не погибнет тот, кто твердо верит, что будет жив. Я долго думала об этом и не могу представить себя неживой. Ну как это можно, Андрей Дмитриевич! Не ругайте меня, все будет хорошо. Т. П.».

— Я тебе покажу «хорошо», чертенок! Сумасшедшая девчонка! Дрянь! Я тебя выпорю самолично, обезьяна московская! — кричал командир и уводил глаза в тень, пряча тревогу за судьбу Тани от окружавших его людей.  
Он, видно, верил в невероятные случаи, и оттого приказ еще двум партизанам-разведчикам звучал так лаконично и ясно:

— Найти. Будет упираться — нести на руках. Запомните новое место расположения отряда. Все!

С получасовым опозданием отряд угрюмо двинулся вперед. А на рассвете, километров за двадцать от покинутой стоянки, партизаны встретили группу Сергея Марьянова. Полуобнаженные, залепленные с ног до головы грязью, шесть человек бросились к товарищам.

— Ты где же был? — тяжело задышал командир отряда, глядя на Марьянова.

Доклад того был короток и обычен: нарвавшись на взвод полевой жандармерии, группа приняла бой, израсходовала боеприпасы и, потеряв одного человека, стала уходить в сторону базы. Бежали и ползли самыми трясинными местами болот и топей. На вторые сутки жандармы отстали, и только псы, охрипнув от злобы, не прекращали погони. Но двух задушили руками, а остальные… черт их знает, куда они делись, наверное, тоже отстали…

…Размеренной чередой проходили дни. Падали в боях люди, и хоронили партизаны покойников в местах, недоступных солнцу. В одиночку и группами вливались в отряд бойцы, и они, живые, заслоняли образы мертвых. Неслышной, невесомой поступью мял опавшие листья лесов командир отрядной разведки Сергей Марьянов. Приводя на базу схваченных жандармов, он ставил их у сосен и голосом, сдавленным горем, почти вежливо спрашивал:

– Вам не приходилось в своих гестапо допрашивать русскую девушку Таню? Нет? А двух партизан-разведчиков, что были посланы на ее розыски, – тоже нет?

Поздней осенью отряд ушел далеко на юго-восток и вскоре соединился с наступавшими частями своей армии…

Близился конец войны.

В бою за тот самый город, куда с двумя гранатами ушла полгода тому назад Таня, гвардии лейтенант Марьянов был тяжело ранен в плечо. В освобожденном городе он лежал в госпитале, разместившемся в здании заводоуправления, у окна с видом на тюремную стену. К ней, почерневшей от времени и не задетой ни единым осколком снаряда, подступила река. Она утекала на запад, и в неё постоянно садилось огромное и лохматое солнце. Тогда река пылала нестерпимо жарко и на чёрной стене тюрьмы плясали дымно-багровые блики.

В эти минуты у Марьянова всегда начинался бред. Выгибаясь на койке, он порывался к окну, силясь освободиться от грубовато-ласковых рук сестры-сиделки.

– Разве ты не видишь, Андрей Дмитриевич? Не видишь? Они бросают её в пламя!.. Прямо со стены…Ты что же, Андрей! Пусти… сволочь! Пусти! Таня! Танюша! Потерпи, я сейчас…

Сестра звала на помощь и торопилась опустить на окне штору.

По утрам падала температура. Марьянов лежал тихо и припоминал обрывки вечерних видений: горящая река, сизые фигуры жандармов, бросающие Таню в огонь… А Таня упрямо просит их о пощаде. Да-да, просит! «Как же это она могла?» В голову её впились две стальные блестящие пластинки, и Таня то и дело трогает их руками. «Что это они сделали с нею?!»

И Марьянов стал нетерпеливо ожидать захода солнца. Ему надо было знать, во что закована голова Тани, и надо было услышать, о чём она просит палачей…

Однажды утром он подозвал сестру.

– Послушайте, – сказал он, – это неправда, будто она испугалась. Ничего подобного! Стальные пластинки на голове – это наушники от рации. От нашей партизанской рации, понимаете? И она звала: «Тайга! Тайга! Я – Лебедь! Я – Лебедь!» Это позывные, понимаете?

– Опять ему плохо, – вздохнула сестра и прислонила ладонь к нежаркому лбу Марьянова.

Потом его унесли на третий этаж. Там, в операционной палате, ещё от дверей, с носилок, он увидел в широкое окно прятавшуюся за стенкой тюрьму. «Вот она, проклятая прислужница немцев!» — прошептал Марьянов и стал считать чёрные провалы мрачного здания. «Два, четыре, восемь, двенадцать… В это или вон в то окно Таня видела в последний раз солнце? Наверное. Вон в то, угловое, что ближе к реке…»

– На стол. Раздеть! – услыхал он требовательный голос.

У главного хирурга госпиталя бородка клином, и её плотные прямые щетинки выбивались из-под марлевой маски, как иглы. «Злой, должно быть, старый филин», — неприязненно подумал о нём Марьянов, и, будто в подтверждение его догадки, хирург стал резко выговаривать что-то своим помощникам. Марьянов уловил несколько незнакомых слов. «По-латыни – значит, обо мне», – подумал он и, повернув голову от окна сказал:

– Не надо, доктор.

– Что не надо? – раздражённо спросил хирург.

– Общего наркоза не надо.

– Ну, это, батенька, не ваше дело! Потрудитесь лежать спокойно, — наставительно, но уже без прежней резкости сказал хирург, решив, что его пациент – медик, раз ему знакома латынь.

Но хирург ошибался – Марьянов не знал латинского языка. Лежа в госпитале, он незаметно утерял внутреннюю сопротивляемость здорового человека зримому и возможному злу – веру в благополучный конец любых бед. До этого он жил с тревожной, но постоянной мыслью, что Таня, может быть и жива, мало ли чего хорошего не случается на свете! Теперь же он уверовал в гибель Тани и испытывал сложное чувство вины за её гибель. Вид тюрьмы рождал в его мозгу мучительные картины истязаний любимого человека, и он всем телом, казалось, слышал повисший над землей предсмертный крик Тани. Да, в мире жил этот крик, и Марьянов воображал, что ощущением собственной боли он примет на себя частицу Таниной прошлой муки.

– Не надо наркоза, доктор! – упрямо проговорил он. – У меня слабое сердце… наркоз вреден… и очень крепкие нервы. Можете оперировать, я не буду стонать. Ну пожалуйста, доктор!

– Ну-ну, нечего кокетничать! Слышали наш разговор, а выдаете его за просьбу! – проворчал хирург и обратился к ассистентам:

– Ну-с!

Марьянова раздели и положили на стол. Он взглянул на своё исхудавшее тело и, устыдившись врачей, отвернулся к окну. «Ну, вот и я, – сказал он мысленно, найдя угловое окно тюрьмы, – вот и я…»

Ноги и правую руку его схватили жесткие ремни, а перед глазами протянулась невысокая белая ширма, скрыв хирурга и его помощника. Торопливо и грубо кто-то снял с плеча его бинт, чьи-то мягкие и приятно холодные пальцы вдумчиво ощупали края раны и вдруг причинили короткую, как удар, боль. Марьянов прикусил губу, но пальцы сбежали по руке к локтю, где тело не чувствовало прикосновений…

Он только раз приглушённо охнул и с силой рванулся всем телом. Тогда хирург показался из-за ширмы и спросил укоризненно:

– Неужели больно?

– Нет… но если бы скорей, – сквозь стиснутые зубы проговорил Марьянов и взмахом ресниц поблагодарил сестру, отёршую пот с его лба… Потом за ширмой кто-то уронил то, что в таких случаях принято класть неслышно и бережно.

– Что это упало? – крикнул Марьянов.

– Где упало? Что упало? – прокричал хирург. – Ножницы упали. На пол!

– Рука упала. В таз, – раздельно и тихо сказал Марьянов, а хирург сморщил нос, пошевелил сединой бровей и низко склонился к лицу Марьянова.

– И совсем не рука, – сказал он ласково, как ребёнку, – не рука, а кисть. И к тому же – левая кисть. Ну, будьте же до конца умницей… – и запеленатыми в марлю губами поцеловал Марьянова в лоб.

**2**

Домой!

В те далекие дни редки были пассажирские составы, и на станциях в кассах демобилизованным не продавались плацкарты. Солдаты и офицеры ехали в теплушках, на покатых хребтинах цистерн и на подножках платформ, груженных металлоломом.

Лишь на пятые сутки пути, ночью, Марьянов прибыл на родину Тани.

Нетронутый войной городок утопал в темной зелени, и его деревянные домишки дремали в палисадниках, зачарованные тишиной пустынных улиц. Марьянов не скоро отыскал переулок Софьи Перовской и долго сидел у его начала под заборчиком, курил. Потом он размеренным шагом перешел к четной стороне домов и вдруг не выдержал — побежал, гулко ступая сапогами по деревянному настилу тротуара, придерживая рукой прыгающий за спиной мешок…

Домик под цифрой «10» оказался крохотным, хрупким. Смежив ставни, он был как задремавший больной ребенок, и окутавший его лунный сумрак пахнул увядшими цветами, как лекарствами.

Вежливо, просяще Марьянов трижды постучал в ставню. И когда он, сняв фуражку, прижимался ухом к теплой доске ставни, с крыльца окликнул его старческий женский голос:

— Ты што, батюшка?

Марьянов надел фуражку, оправил гимнастерку и только тогда сказал западающим голосом:

— Я с фронта… Я к Лебедевым…

И вот он сидит в маленькой комнатке, увешанной пучками засушенной мяты. О закоптелое стекло лампы потревоженно бьются мухи, и пойманным шмелем гудит усталый голос старушки:

— Сорок ночей ходила я за Петром Григорьевичем, а как помер он, то я и осталась тут. Покараулю, думаю, а вернется Танюшка — передам ей все в целости… А ты, батюшка, кто же доводишься Лебедевым? Знакомый Петру Григорьевичу али как?

На этажерке, где сиротели учебники для десятого класса, Марьянов нашел свои нераспечатанные письма, что посылал из госпиталя отцу Тани. Он дал старушке банку тушенки и снял со стены Танины фотографии. А на рассвете он покинул город, и умиротворенность справных домишек показалась ему подозрительно невозмутимой, почти нелепой в сравнении с тем городом, откуда он приехал и куда возвращался теперь снова…

…И вот опять знакомое здание госпиталя, тюрьма. Город лежал в руинах, и по неубранным улицам плавали сложные запахи праха. В горкоме партии Марьянова встретили так, как встречали тогда всюду демобилизованных: «Хотите на работу? Хорошо». Он сдал свои документы и на третий день был утвержден директором кирпичного завода.

**3**

Занимались и гасли мирные тёплые зори. Казалось, что пряжа будничных дней однотонна, но из них ткались годы коврами с неповторимыми рисунками событий. И может быть, зря не написали прозаики повесть о вставшем из пепла силикатном заводе, а поэты – балладу о кирпичах, сделанных в городе, куда несколько лет тому назад ушла партизанка Лебедева с двумя французскими гранатами…

…Жильё Марьянова казалось большим и пустынным – в комнате не было кровати и буфета с посудой, а кресло, тахта, письменный стол и шкаф с книгами стояли по углам. Окна комнаты выходили в городской парк. Там давным-давно были срыты и разбиты цветники, а на месте погибших в войну осин высажены липы, и в летние месяцы за письменным столом Марьянова пахло мёдом.

Марьянов поздно возвращался с завода. Подходя к дому, он всегда ускорял шаги и торопливо поднимался по лестнице. Он бесшумно поворачивал в замке ключ и рывком распахивал дверь в свою комнату. Так повторялось каждый день в продолжение двух лет, и каждый раз, никого не увидев в кресле, он называл своё сердце глупым… Ведь это было невероятным, почти абсурдным! Кто мог в его отсутствие прийти и остаться в комнате? Кто?

Он снимал пиджак, бережно вешал его на спинку стула и надевал пижаму. Затем садился за стол и протезом левой руки нажимал на кнопку настольной лампы.

Тяжело, мучительно писал свою повесть Марьянов. Командир отряда Андрей Дмитриевич, комиссар Грачёв, Таня, партизаны и даже сам он, Марьянов, выступали на страницах рукописи унылыми героями и скучными резонёрами, умеющими будто бы ходить особенной ото всех походкой по неровной, изрытой траншеями земле… Марьянов злился и сжигал готовын главы, затем писал новые и снова уничтожал, недовольный.

«Я, наверно, бездарен», — подумал он однажды и наутро смущённо попросил своего главбуха прочесть неоконченную рукопись.

Анне Львовне было за пятьдесят. Она ходила степенной поступью человека, поглядевшего в жизни какую-то хорошую правду, разговаривала спокойно и тихо, и, когда подбивала баланс, костяшки счетов под её пальцами звучали заглушенно и мягко, как ссыпаемые в авоську баранки. Марьянов просил её не торопиться – он может ждать неделю и даже две, но уже на следующий день старался не попадаться на глаза старой женщине, испытывая к ней почтительную робость, почти страх. «Будто я подсунул ей подложный документ и боюсь разоблачения», – удивился он.

На третий день Анна Львовна вернула Марьянову рукопись.

– Я думаю, Сергей Михайлович, что книгу вашу напечатают, – сказала она. – Вы, наверное, уже давно решили, куда послать её?

Да, Марьянов решил. Он сказал название журнала, а главбух подтвердила:

– Напечатают, голубчик, напечатают! У вас всё там соблюдено, всё по традиции…

– А читать это не скучно? – осторожно спросил Марьянов.

Анна Львовна смешно повозилась в кресле:

– Да нет, что же… – и, потрогав концы пояса своей вязаной кофты, вдруг предложила: – А вы забудьте, Сергей Михайлович, будто книгу свою пишите для журнала.

– А для кого же писать? – удивился Марьянов.

– А для нас, голубчик, для людей. А лучше – для любимой девушки своей. Наверное, она у вас ласковая разумница, а таким пишут задушевно и искренне…

**4**

Журнал, куда Марьянов намеревался послать свою рукопись, опубликовал накануне войны два его стихотворения. Марьянов был удивлен тогда своей удачей и поражен злой добродетельностью редактора, уничтожившего в стихах все то, что давало им право называться стихами. Он возмутился и послал журналу еще два стихотворения, но ему внушительно разъяснили тогда, что если он стремится со временем стать поэтом, то должен раз и навсегда понять, что початки камышей не похожи на факелы, что сизая дымка горизонта — просто туман и пыль великих будней, а романтика вообще — это засаленный салоп, вконец изношенный писателями еще в прихожей редакции журнала «Нива»… Марьянов показал эту рецензию товарищам, и кто-то из студентов назвал его поэзию «салопницей». Он мужественно перенес обиду, и с тех пор, кроме Тани, никто не читал его стихотворений…

Припоминая все это, Марьянов дивился проницательности старой женщины, деликатно указавшей ему на причину серости его книги. Он не колебался и в тот же вечер уничтожил рукопись.

…И вот в заснеженных полях постоянно дует северный ветер. Оледенелые былинки бессмертника тускло лучатся под звездами и звенят хрустально-нежно и печально. В болотах тревожно аукает выпь, и черные султаны камышей колышутся, как погасшие факелы. Леса в новом варианте повести Марьянова всегда наполнены дремлющей тайной и зеленым сумраком.

Он писал легко и вдохновенно, впервые ощутив несказанную радость творчества, и ночи, проводимые за столом, были полны для него изумительно живых общений с минувшей былью. Силой любви и памяти он воскрешал прошлое почти до его физической яви, и временами ему казалось, что он слышит голоса своих героев и шум боя, и не хватало чего-то малого, чтобы перед ним встали живые участники описываемых событий.

Так прошел год, и ни на единый миг Марьянов не разлучался с Таней. Шаг за шагом они вновь проходили исхоженные вместе дороги. Он наделял ее всем, что было самого хорошего в мире, и оттого образ ее в повести был нечеток — тоненькая и высокая, с чуть капризными припухлыми губами, с упрямым чистым лбом и голубыми звездами глаз. Да, были еще косы, но в повести Таня не заплетала их, потому что Марьянову нравилось называть ее волосы метелью…

Повесть близилась к окончанию — Таня ушла из отряда на поиски его, Марьянова. Он проследил ее путь до комендатуры в подневольном городе, и там, у дверей с рослым часовым, Таня остановилась в замешательстве. Она стояла, спрятав руки в карманы летной тужурки, а немец угрюмо глядел на прохожих и вдруг тяжело шагнул к ней… Но это было начало нелепого, отвратительного конца. Таня не должна была подходить к часовому — это опасно, и Марьянов зачеркнул немца. Он вспомнил о французских гранатах, похожих на маленькие глиняные кувшинчики из-под ликера, и без участия Тани яростно запустил их в окно комендатуры, а ее сорвал с места, подхватил и унес из города живой…

Было еще много вариантов свершения Таней своего подвига, и каждый раз Марьянов спасал ее от гибели. Он не мог отдать ее в руки палачей, его воображение отказывалось создавать для нее пытки. Непреложность факта ее гибели он опровергал любовью, мечтой и надеждой, которые делают бессмертным род человеческий.

Таня жила, и повесть оставалась незаконченной.

**5**

Стояла осень, и в городском парке пламенели липы. Приходя с работы, Марьянов собирал на столе залетевшие в форточку листья и золотой стопкой складывал их у бюста Маяковского. Однажды Марьянов сказал поэту, как живому:

— Что ж, Владимир Владимирович! Видно, мало быть на вас похожим ростом, голосом и взглядом… Да-да, о том, что я похож на вас, мне давно говорили влюбленные в вас студентки, и, между нами говоря, я немного горжусь этим… Но вот не могли бы вы сказать, как спастись от тоски человеку, когда он совсем-совсем одинок?.. И правда ли, что прошлому верны бывают в жизни только слабые, никчемные люди, которые не имеют настоящего?.. А как понять ваше «вот и жизнь пройдет, как прошли Азорские острова»? Может, и вы, Владимир Владимирович, тоже в жизни знали потерю… А? Но разве могут мертвые держать в плену души живых?

Острова… В К-й области, где родился Марьянов, этих островов нет. Там бескрайние поля, и в них редкими оазисами темнеют рощи. Теперь дубы роняют желуди и в полях плавают белые мотки паутины. Да, теперь там золотая осень и в лугах, куда он мальчишкой гонял пасти чужих лошадей, в болоте гуртятся утки, собираясь в отлет…

И Марьянов ощутил вдруг неодолимое желание увидеть родимые места. Это желание росло в нем с каждой минутой, и далекие были вставали в его памяти чудесной сказкой, наполнявшей сердце какой-то смутной радостью и ожиданием. Он написал в свой трест заявление об отпуске и стал готовиться к отъезду.

Разрешение на отпуск застало его готовым — чемодан и рюкзак лежали упакованными на столе. Накануне отъезда Марьянов пошел в горком.

— Ну что ж отдохните, — сказал секретарь. — Вы на Кавказ?

— Нет, в свое село.

— А, к родным?

— Да-да, — неопределенно ответил Марьянов и вдруг заторопился: — Я хотел поговорить с вами о своей судьбе, товарищ секретарь…

Он рассказал, что матери и отца не помнит — ему было полтора года, когда их расстреляли белые. А двенадцати лет он ушел в город, унеся обиду на сельчан за неласковость к озорному и упрямому сироте. Да, он был недолгое время беспризорником. Потом… потом все шло как положено. На третьем курсе педагогического института его застала война, и надо было защищать все то, что с таким трудом он накопил в жизни…

Он припомнил, как инструктор обкома партии Андрей Дмитриевич, он и радистка Лебедева тонули с парашютами в болотистой речке Ухлясь, а через два года с частями Советской Армии соединился боевой отряд из трехсот партизан… Он рассказал о Тане и о своей незаконченной повести.

— Я не хочу дальше оставаться в этом городе, ставшем могилой моей мечты,— сказал Марьянов, — и прошу вас не препятствовать моему переезду. За время отпуска я подыщу себе работу.

— Вот что, товарищ директор, — ответил секретарь. — Мы сейчас заедем ко мне домой. Вы возьмете мое ружье и поохотитесь там, куда едете.

Марьянов с горечью подумал, что этот человек ничего не понял из того, что он рассказал.

— У меня ведь одна рука, — сухо напомнил он.

— А вы кладите стволы на левый локоть и палите! Ружье замечательное, бьет кучно и без малейшей отдачи. Без малейшей! И вот еще что: захватите, пожалуйста, с собой на обратном пути литровочку меда. Я слыхал, будто в ваших краях чудесный мед целебного свойства. Ну и… очень прошу вас, а?

Несколько секунд Марьянов удивленно глядел на секретаря и, отвернувшись к окну, произнес негромко:

— Не надо ружья. Виктор Иванович… Ведь его можно вернуть вам и по почте.

— Да, конечно, — виновато улыбнулся секретарь. — Но я прошу вас возвратиться в город. Прошу. Я хочу расстаться с вами другом. Согласны?

**6**

Шелковка…

Две сотни белых хат двумя посадами рассыпались над речкой, кишащей пескарями и пиявками. Берега речки заросли ивовой дремучью, хаты тонут в садах, а вокруг — безбрежный океан созревающего хлеба, дрожащая синь знойного марева и никогда не потухающее солнце…

Он ушел из села летом, и мир детских впечатлений не представлялся ему в ином времени года. Он вспоминал летние дни, полные удивительных свершений и восторгов, бесконечные дни, населенные одними радостями, доступ к которым ему никто не запрещал. И он верил, что эти радости живы там и он испытает их снова, как только ступит ногой на полевую тропинку родимого края. Он еще издали низко поклонится селу за то, что родился в нем, и за то, что сохранил к нему бессловесную любовь и преданность…

В районный центр Марьянов приехал вечером. До родного села оставалось восемнадцать верст проселочной дороги, и он пошел пешком, легко неся на плече рюкзак и в руке чемодан. Далеко впереди, вправо от дороги, горел костер. В насыщенной звездами ночи жила чуткая тишина, и теплой пряностью недавно прошедшего лета еще дышали облегченные поля.

— Как хорошо! Как хорошо! — шептал Марьянов, шагая по уезженной дороге. Он вспомнил о древнем сторожевом кургане на подходе к селу и решил на нем дождаться утра…

Через полчаса пути костер почти не приблизился. Он тлел ровным неярким светом, и Марьянову почудилось, что он уловил в воздухе ароматный дух испеченной в золе картошки, и в сердце не было боли за себя, воровавшего на чужих огородах картошку и уходившего по вечерам в поле разжигать костер.

Огонек мерцал все ближе и призывней. Через каждые сто шагов Марьянов опускал чемодан на дорогу и взмахивал затекшей рукой, не спуская глаз с красной манящей точки. «Пойду, предложу колбасы за картошку», — подумал он и свернул с дороги.

У костра, разложенного между двух буртов сахарной свеклы, сидели двое — старик в дубленом полушубке внакидку и молодой в промасленной телогрейке и модной кепке с миниатюрным козырьком. «Сторож и тракторист», — определил Марьянов и вежливо поздоровался, остановившись у костра. Ему ответил старик — медлительно, с достоинством хозяина.

— Можно мне отдохнуть у вас? — попросил Марьянов.

— Пожалуйста, — прежним тоном отозвался старик.

Люди были незнакомы Марьянову. Они не проявили внешнего любопытства к нему и, выждав, пока он уселся чуть в стороне от костра, продолжали свою беседу. Говорил молодой — негромко, раздумчиво, с большими паузами:

— Прилетали они по зорям. Сядут на середину озера, обнимутся шеями и плавают, а белые — как снег. Ну, полюбуются, помилуются, а как солнце взойдет повыше — снимутся и улетят. Бабушка, бывало, говорит: «Храни тебя Бог, Данилыч, от причинения обиды птицам. Не тронь их». А дедушка… не стерпел. Подкараулил он их в одно прекрасное утро и полыхнул с берега. И убил самого. А лебедка осталась. Подплыл он на лодке, хочет взять убитого, а она прикрыла его крыльями, сипит на убийцу и норовит клюнуть… Насилу отнял, а ее пожалел, улетела… Дома дед распластал лебедя на полу, крылья — от стенки и до стенки, а глаза — как желтые монисты, и смотрит!.. Бабушка увела тогда меня в лес и сама тоже плакала, жалела старушка загубленную красоту…

Ну, прошел день, другой — всякое ведь дело забывается. Но вот на четвертую зорю на озеро прилетела лебедка — растрепанная, исхудавшая… И начала она метаться; то на воду сядет, то вынырнет, то взовьется. И стонет… Понимаешь, Матвеич, в жизни не слыхал я такого крика — одна живая боль! И так каждое утро. Сторожка наша у самого берега стояла — слышно все, и бабушка захворала, не вынесла лебединой тоски. А дед… он тоже переживал, как от зубной боли… Одним словом, не стало жизни нам. Мы с бабушкой начали уговаривать деда перевестись в другое лесничество — это можно было, деда ценили, но он, старый хрыч, нашел другой выход из положения… Как-то с ночи еще собрался в обход будто, а сам залез в кусты на берегу озера и дождался лебедку… Выпалил он по ней, да не попал — руки, верно, тряслись… И вот что получилось, Матвеич. Взвилась лебедка над озером и стала чуть заметной, а потом сложила крылья и камнем прямо на деда, на ружье…

**7**

Костер дотлевал. Насупясь, старик глядел на золотистую золу, скрестив на коленях руки. Подложив под голову рюкзак, Марьянов лежал, ожидая конца лебединой повести. Но рассказчик молчал, и тогда старик спросил сурово:

– Убил?

— Дед хорошо делал чучела, — не сразу отозвался рассказчик. — Все равно лебеди не живут друг без друга, а тут… Ты приезжай когда-нибудь к нам, Матвеич, и увидишь — как живые стоят они рядом и шеями обнялись. Как живые! И потом… дед рассказал, будто кричала лебедка, когда пикировала на ружье, радостно, как при живом лебеде…

— Врал твой дед, — сердито перебил старик, – совесть свою оправдывал. Ишь, придумал: «Не живут друг без друга!» Люди и те живут после гибели любимого человека, а то — вольная птица! Люди-то, по-твоему, меньше птичек в любви смыслят, как?

— Может, и не меньше, — глухо ответил парень, — но только у людей чуть что — и готово: нашелся другой или другая…

— А ты сам-то любил?

— А то нет?

— И терял?

— Расходились с согласия…

— Дурак ты, Федор, извини за грубость! Да нечто это любовь у вас была? От такой любви-согласия потом глазам, поди, больно было, как от кизячьего дыма! А настоящая любовь… она — будто все время в весне ты живешь, в саду… А сад тот цветет и цветет, и ни ему нет конца, ни твоей радости края, Федор. Да! Ты вот лебедей в пример человеку по верности поставил. А я тебе расскажу другую любовь. Человеческую, нашу русскую…

Очень нескоро старик скрутил цигарку и долго раскуривал ее, захватив двумя пальцами жаркий кизяк.

— Вот слушай, — заговорил он мягко, с выходом дыма. — Во время войны был на Смоленщине партизанский отряд, может, в тыщу человек, а можети в две. Контрразведкой в отряде командовал совсем молодой офицер. Отваги он был непостижимой. Наденет, бывалоча, германский мундир с чином генерала или полковника — и к ним: «Гут морген!» Те говорят: «Гут морген», — «Ну, как у вас тут дела идут?» — спрашивает. «Так и так, — отвечают, — плохо», — «Ага. Ну через денек вам полегчает, подмогу пришлю». А через денек — разгром! Так и работал… А вот беды всё же не миновал! Шел он как-тось со своими друзьями-товарищами по лесу — осенью в сорок втором дело было — и напоролся на горе. Стерегли его… Ну человек десять, а то и двадцать, их уложил он сразу — красавец был малый, а сам… Что же ты сделаешь, когда их тьма-тьмущая насела! Не бессмертный же? Ну и все! А я забыл сказать, что была у него любимая в отряде. Что она за человек — говорить не буду тебе, но знаю, Федор, что с такими не расстаются ни с согласия, ни иным путем. Узнала она о беде-несчастье и пришла к командиру отряда…

Марьянов тихо приподнялся с потеплевшей под ним земли, сел и, круто поставив колени, прижался к ним грудью.

— …не имею прав, — отвечает генерал, – губить отряд из-за пяти человек. За такое дело меня расстреляют… И тогда пошла она одна на десять тысяч врагов, понял? Это тебе не на дедово ружье пикировать, как?

— Ты читал это, Матвеич, да? — спросил парень.

— Слу-шай! — приказал старик, — Такое не выдумаешь! Слушай, говорю! Пошла она и целую неделю жила в городе — искала. Да что найдешь, когда кругом сплошные немцы!.. Конечно, может, и надо было ей отомстить там как-то… из пистолета или из гранаты, но это она не сделала. Смысла не было, домой обещала вернуться, в отряд, а главное, как я понимаю, не верила она, что попался он немцам… Ушла она из города, исколесила все леса — нет отряда, а дело к зиме, есть нечего, одна. И вот, отчаянная головушка, решилась она идти на прорыв фронта. И думаешь, не прошла бы? Прошла… да все-таки женщина так бабой и останется! На самом подходе к позициям вздумалось ей простирнуть в ручье кой-какие тряпки свои. Присела в кустиках и плескается, а сзади — «Хальт!». Оглянулась — двое! Выхватила она из-за пазухи гранату и по ногам им, а сама… от испуга, конечно, забыла прилечь, а тут и грохнуло. Немцев наповал, а ее в грудь осколком…

— Ну? – шепотом крикнул Марьянов — Погибла?

Старик осёкся и обиженно спросил:

— Это зачем же нужно? Спаслась! — утвердил он. – Уползла, и в одном хуторе три месяца выхаживали eё добрые люди, пока армия не пришла.

В голове Марьянова рождались и мгновенно гасли необычайные предположения о невероятном. Какое-то время он следил за рассказом и огромным усилием воли заставил себя слушать былину.

— …приехала, а багажик — один баульчик да на голове две косы в руку толщиной. Ну ладно. Начали мы работать, я школу топлю, она перваков учит – живем припеваючи…

«Нет, это не Таня! Разве ей не сказала бы старушка о моем приезде тогда в их город? А отряд? Ведь могла же она разыскать…»

«…Тихон Матвеич, — спрашивает она, — а с империалистической долго возвращались люди?» — «Да некоторые, — говорю, — аж лет через пять показывались, а других и до сих пор нет»,— «Вот видите! И он может еще вернуться. Ведь прошло только четыре года!» – «Это конечно, — говорю, – а вы писали куда надо? Телеграммы отбивали?» — «Писала,— говорит, – ответили, что в списках убитых и без вести пропавших нет», — «Значит, он жив, — говорю, — а в отряде о нем ничего не слыхали?» — «Да, видите ли, Тихон Матвеич, я, – говорит, — не хотела разыскивать своего командира». — «Это почему же?» — спрашиваю. «Боюсь, – говорит, – я же тяжелое нарушение совершила, самовольную отлучку. Меня и так разыскивал кто-то из отрядных, домой приезжал, фотографии забрал…»

Марьянов лежал не шевелясь. Он смотрел на пушистые, с детства знакомые звезды, и тихие слезы застилали его глаза, и в душе рождалась новая и большая вера в красоту бытия под этим небом.